

Виктор Астафьев

ПРОКЛЯТЫ
И УБИТЫ



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
А 91

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Константина Васильева «Тоска по родине».

ISBN 978-5-389-25082-6

© В. П. Астафьев (наследники), 1994
© К. А. Васильев (наследник),
иллюстрация на обложке, 2024
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®

КНИГА ПЕРВАЯ
ЧЕРТОВА ЯМА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Если же друг друга угрызаете и съедаете,
берегитесь, чтобы вы не были
истреблены друг другом.

Святой апостол Павел

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как бы изнемогши в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах, до самых окон, налип серый, зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных далей прибывший, съежился от усталости и стужи.

Вокруг поезда, спереди и сзади, тоже зябко. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались. Их смешало и соединило стылым мороком. На всем, на всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем неведомая, дух испускающая тварь, да резко пронзало оцепенелую мглу краткими щелчками и старческим хрустом, похожим на остатный чахоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души.

Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего, неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым, черным птицам.

Но лес нигде не проглядывался, не проступал, лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ошутимая волна, по-

койное дыхание настойчивой жизни, несогласие с омертвелым покоем, сковавшим Божий мир. Оттуда, именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства, слышался словно бы на исходном дыхании выпускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственней обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес, не иначе, тот отдаленно звучащий вой едва проникал в душные, сыро парящие вагоны, но галдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук.

Лешка Шестаков, угревшийся на верхней, багажной, полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха: во вселенском вое иль стоне проступали шаги, грохот огромного строя — сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе, спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный мерзлый мир не воет, он поет.

Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно-злые люди в ношенной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять: где поют? кто поет? почему поют?

Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемуся в сером недвижимом мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте исторгали ртами белый пар, вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные, протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не различались: «Шли по степи полки со славой громкой», «Раз-два-три, Маруся, скоро я к тебе вернуся», «Чайка смело пролетела над седой волной», «Ой да вспомним, братцы вы кубанцы, двадцать перво сентября», «Эх, тачанка-полтавчанка — все четыре колеса-а-а-а».

Знакомые по школе нехитрые слова песен, исторгаемые шершавыми, простуженными глотками, еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствия и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви. Но под се-

ню соснового леса звук грозных шагов гасило размицканным песком, сомкнутыми кронами вершин, собирало воедино, объединяло и смягчало человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и оттого, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху.

И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой...» — грозная поступь заняла даль и близь, она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром, гасила, снимала все другие, слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов — только грохочущий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба, спаянного с землею звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, соединились в строй, начали хлопать обувью по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге в лад грозной той песне, и чудилось им: во вдавленных каблуках ямках светилась не размицканная брусника, но вражеская кровь.

Солдаты, угрюмо несущие на плечах и загорбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви задевающие и снег роняющие пэтээры с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий, на бой они шли, на кровавую битву, и не устало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами, обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувствовать возможно и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевавшем тобою, все уже трын-трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь.

И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые искрошившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в Лешке все не смолкало, все надломленно-грозно произносилось: «Вставай на смертный бой...» Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит — есть дела и вещи важней и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в которые он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню-заклинание, призы-

вающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно, сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой, половодьем возможно прорваться к краю света, к какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны, да и неважны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле.

Душу Лешки посетило то, что должно поселиться в казарме и в тюрьме, — вялое согласие со всем происходящим, и когда его назначили в первый наряд: топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами — он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ: не спать, не спалить карантин, следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или, тем паче, пить горючку, — он покорно повторил приказание и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что, если кто нарушит, с тем разговор будет особый.

У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден, в запасном полку он оказался после госпиталя, с маршевой ротой вот-вот снова уйдет на передовую из этой чертовой ямы, чтоб она пропала, провалилась, сгорела в одночасье — так заявил он.

Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, реденько торчало что-то на прогнутых непробритых санках челюсти, да сорно лепилась редкая поросль под носом, глаза желтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегши грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежился спиной, со щенячьим скулежом втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лешки хороший, хлеба еще маленько было, сала не велось. Лешка кивнул на толстобрюхие сидора угрюмых людей из старообрядческих таяжных краев, обнимавших те сидора обеими руками, будто богоданную бабу, — эти асмодеи не обеднеют, если поделятся припасами.

Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев — многие уже спали, блатняки из золотишных забоев Байкита, Верх-Енисейска, с Тыра-Понта, как они говорили о других, секретных районах, сложив ноги кала-

чом, сидели кругом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв с себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею, издавая давал игрокам советы и указания: чем бить, каким козырем крыть. В темном, дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные саленые плоские да лениво горящая чугунная печка без дверец, на краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали, прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже и не заметили.

На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился: «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого...»

— Отставить! — на всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал.

Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли.

Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице, сам опять устроился на чурбаке против квадратно прорубленного горячего отверстия, снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него.

В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье, тусклую жизнь со спертым, неподвижным воздухом глухого помещения, да и то изблиза лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы да слежавшейся хвои на нарах — вместо постели тоже настелены жесткие ветки — разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи.

Старообрядцы, уткнувшись смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посоветовались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, состроенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную зобенку с солью, сделанную в виде пенала. Яшкин достал из кармана складник, отрезал горбушку хлеба себе,

подумал, отрезал еще ломоть и, назвав фамилию — Зеленцов, — сунул в ту же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся чистить луковицу.

— Сохатина! — раздался голос Зеленцова с нар, скоро и сам он сполз вниз, приняохался широкими, будто драными ноздрями, зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить.

— Некурящие мы, — потупился старообрядец.

— И непьющие?

— По святым праздникам коды. Пива...

Лешка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простудой обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Чё мы да мы?» — заныли парни и, брякая посудиною, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую, сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в дужку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло, выше притвора далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света.

Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку, в печке зашипело. К воде потянулись жаждущие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатали ее ближе к трубе, в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислоту и вонь.

На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чугунок, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок.

— Па-аа-абереги-ы-ы-ысь! — послышалось в казарме, и от двери, весело брякая, покатались рыжие чурки, было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка, может, и какой другой лесины, уведенной откуда-нито находчивыми пыльщиками.

Яшкин отодвинулся от устья печки, в дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала-подумала, пощелкала, постреляла да и занялась, загудела благо-

дарно, замалинилась с боков. Народ, со всех сторон родственно ее объяввший, ел картошку, расспрашивал, кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-одноворцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни, но паче всего, цепче всего укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых далях.

Старообрядец в знатном картузе назвался Колей Рындиным, из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл — притоке Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый, всего же детей в доме двенадцать, родни и вовсе не перечесть.

Над Колей начали подтрунивать, он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить, но, когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину решительно отнял.

— Я ж тебе, парнишка, говорил: покуль от еды воздержись, от картошки, да еще недопеченной, разнесет тебя ажник на семь метров против ветру... — Коля приостановился и гоготнул: — Не шпытая брызгов! — И далее серьезно, как политрук, повел мораль: — Понос — штука переходчивая, а тут барак, опчество — перезаразишь народ. — Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголья и назидательно добавил: — Скипятится, и пей — как рукой сымет.

Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца.

— Что это? Что за лекарство? — расспрашивал народ, потому что не одному Петьке Мусикову — так звали парнишку-дристуна — требовалась медицинская подмога: дорогой новобранцы покупали и ели что попадая, напились сырого молока, воды всякой, вот и крутило у них животы.

— Сушенная черемуховая кора с ягодой черемухи, кровохлебка, змеевик, марьин корень и ешшо разное чего из лесного разнотравья, все это сушеное, толченое лечебное свойство освящено и ошоптано баушкой Секлетиной — лекарем и колдуном, по всему Амылу известным. Хотя тайга наша богата умным людом, но против баушки... — Коля Рындин значительно взнял палец к по-

толку. — Она те не то что понос, она хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу — все-все вплоть до туберкулеза заговорит. И ишшо брюхо терет.

— Брюхо-то зачем? Кому? — веселя, уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкин.

— Кому-кому! Не мне жа! Жэншынам, конечно, чтобы ребеночка извести, коли не нужон.

Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коле Рындину место подле главного командира — Яшкина. Петьку Мусикова и еще каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он ими по-собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков.

— Если не уйметесь, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилить!

— Я б твою маму, генерал...

— Маму евоюю не трожь, она у него целка.

— Х-хэ! Семерых родила и все целкой была!..

— Одного она родила, но зато фартового, гы-гы!..

— Сказал, выгоню!

— Кто это выгонит? Кто? Уж не ты ли, глиста в обмороке?

— Молчать!

— Стирки¹ не трожь, генерал! Пасть порву!

— У пасти хозяин есть.

— Сти-ырки не рви, пас-скуда!

Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый, весь в наколах блатной и тут же, взялав, осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу. Лешка, Зеленцов, дежурные с помощниками двоих делег сдернули с нар и заголившимися спинами тащили волоком по занозистым, искрошенным сучкам и тоже за дверь выбросили — охладиться. Зеленцов вернулся к печке с ножиком в руках, поглядел на кровоточащую ладонь, вытер ее о телогрейку, присыпал пеплом из печи, зажал и, оскалившись редкими, выболевшими зубами, негромко, но внятно сказал в пространство казармы:

— Шухер еще раз подымете, тем же финарем...

¹ Карты.

Блатняки утихли, казарма присмирела. Коля Рындин опасно поозирался и с уважением воззрился на Зеленцова, на Яшкина: вот так орлы — блатняков с ножами не испугались! Это какие же люди ему встретились! Ну, Зеленцов, видать, ходовый парень, повидал свету, а этот, командир-то, парнишка парнишкой, хворый с виду, а на нож идет глазом не моргая — вот что значит боец! Поближе надо к этим ребятам держаться, оборонят в случае чего. Зеленцов уютно приосел на корточки, покурил еще, позевал, поплевал в песок и полез на нары. Скоро вся казарма погрузилась в сон.

Яшкин приспустил буденновский шлем, на подбородке застегнул его, поднял мятый воротник шинели, засунул руки в рукава, прилег в ногах новобранцев, на торцы нар, спиной к печи, и тут же запоскрипывал носом, вроде бы как обиженно.

— Хворат товарищ сержант, — заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лешке: — Я те помогать стану, дежурить помогать. Чё вот от желтухи примать? Каку траву? Баушка Секлетинья сказывала, да не запомнил, балбес.

— Да он с фронта желтый, со зла и перепугу.

— Да но-о!

Дежурные до утра не продержались. Лешка, привалившись к столбу нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и наконец сдался: обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засоренный окурками теплый песок, на ощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз — и казарму сотряс такой мощный храп, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом спросил:

— О-ой, мама! Чё это такое? Где я?

Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками — все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынута. Блатняки реготали, чесали пузо, какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных-поперечных. Вдали матерился Яшкин: несмотря на его приказ и запрет, нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сер-

жант и распахнул настежь тесовую дверь, в которую виден сделанся квадрат высветленного пространства.

Яшкин пытался выдворить народ на улицу на умывание, несколько человек, среди них и Лешка Шестаков, вышли и нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли. В прореженном, стройном, или как его еще любовно называют — мачтовом, сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, толсто белел куржак над входами — это и был карантин двадцать первого стрелкового полка, его преддверие, его привратье. Мелкие, одноместные и четырехместные, землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хозслужб и просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение, никогда не обходилось и обойтись не может.

Где-то далее по лесу были или должны быть казармы, клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб полка, но карантин от всего этого отторжен на порядочное расстояние, чтоб новобранцы заразу какую в полк не занесли, чтоб в карантине прошли проверку, санобработку, баню, затем оформлены и распределены были по ротам. От бывалых людей, уже неделю, где и две ошивавшихся в карантине, Лешка узнал, что в баню их поведут ли, еще неизвестно, но вот в казармы, к месту, скоро определят — полк снарядил маршевые роты на фронт, и как только их отправят, очередной призыв, на этот раз ребята двадцать четвертого года заполнят казармы, начнется настоящая армейская жизнь. За три месяца молодняк пройдет боевую и политическую подготовку и тоже двинется на фронт — дела там шли не очень важно, перемалывались и перемалывались машиной войны полки, дивизии, армии, — фронту, как карантинной печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь.

Пока же было приказано раздеться до пояса и мыться снегом. Но того, что зовется снегом, белого, рассыпчатого или нежно-пухового, здесь, возле Бердска, не было. Все вокруг испятнано мочой, всюду чернели застарелые коричневые и свежие желтенькие кучи, песок превращен в грязно-серое месиво, лишь подальше от землянок, под соснами, еще белелось, и из белого сквозь пленку снега светила красная брусника.

Лешка хотел было сунуться в отхожее место, огороженное жердями и покрытое тоже жердями, но вокруг этого помещения и в самом помещении, где было сколочено из жердей седалище с прорубленными в жердях дырками, так загажено, так вонько и скользко, что отнесло его далеко от карантинных казарм, тем более что возле землянок, помеченных трубами, люди в подштанниках, в сапогах махали руками, ругались и отгоняли народ подальше, хватаясь за поленья и палки.

Лешка отбежал так далеко, что в сосняке появился подлесок и под ним тонкий слой снега, мало тронутый и топтанный. За плотно сдвинувшимися вдаль сосняками чудилась река. «Уж не Обь ли?» — подумал он с тоской и начал набирать в горсти снегу, соображая: высаживались на станции Бердск, вроде бы это недалеко от Новосибирска, на Оби же... «Ах ты, родимая же ты моя!» — вздрогнул губами Лешка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться и все же думая, какая она здесь, Обь-то. Широкая ли? Там, в низовьях, в его родных Шурышкарах, она, милая, летами как разольется — другого берега не видать, в море превращается, до самого Урала доходит с одной стороны, в надгорья упирается, если бы не хребет, дальше бы разлилась, как разливается бескрайно у правого берега по тундре, открывая устье вширь до такой большой воды, что и не знаешь, где Обская губа соединяется с морем, а море с нею.

Вспоминая родную северную местность, Лешка наскреб из-под снега горсть брусники и, услышав, что у землянок кличут людей, высыпав мерзлую ягоду в рот, поспешил к карантину. Там уже сбивалось что-то наподобие строя, только никак не могли выжить из подвала старообрядцев да каких-то еще больных или придуривающих людей.

Подле каждой карантинной землянки колотилась, дрожала на утреннем холоду, присматриваясь и прислушиваясь к окружающей действительности, стайка плохо одетых, уже грязных парней с закопченными лицами. Они приплясывали, махали руками, кляли тех, кто прятался в казарме. Возникшие возле подвалов командеры в сером, сами тоже серые, сплошь костлявые, как щенят за шкуру, выбрасывали из землянок новобранцев.

Старообрядцы, пока не зашили мешки, из казармы не вышли. Начальник карантина, старший лейтенант в мятой, воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызволят всех служивых из помещений, сбил старообрядцев в отдель-

ную небольшую стайку и, обходя угрюмо насупившийся пестрый строй карантина, уделил правофланговым особое внимание:

— Пока не сожрете харчи, сидора оставлять на нарах... — (Старообрядцы уважительно глядели на светлые пуговицы и ремни командира. Что на брюхе ремень — они понимали, у них у самих опояски на брюхе, но вот еще зачем два ремня через плечи? Ежели б штаны держали, тогда понятно.) — Н-на нарах! — повторил старший лейтенант. — Назначайте своего дежурного, чтоб вас совсем не обшмонали. Остальным завтракать. Не все так богато запаслись провиантом? Не все?

Получив подтверждение, командир приказал вести людей в столовую, сказав на прощание: днями новичков распределят по казармам, там всякая вольница и разброд кончатся, наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы состричь, всем, у кого расстроены животы, кто простудился в пути, отправляться в санчасть, остальным заготавливать дрова, потому как приближаются настоящие сибирские морозы, после завтрака не бродить по расположению полка, в землянке будет политчас и личные знакомства с представителями строевых подразделений — с командирами рот и батальонов.

Следуя в столовую по расположению полка, с любопытством и тревогой смотрели новобранцы на строения военного городка, состоявшего все из тех же подвалов-казарм, только еще более длинных, плоских, не с одной, а с несколькими трубами и отдушинами, как в доподлинном овощехранилище, с двумя широкими раскатанными входами в подземелье, из которого медленно ползла иль постоянно над входом плавала пелена испарений, даже на отдаленный взгляд нечистых, желтушных. От морока и сырости над входом в казармы намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка, под нею темнела раскисшая, большей частью уже развалившаяся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм высилось вширь расползшееся, в лес врубленное, никак не спланированное сооружение, еще не достроенное, с наполовину покрытой крышей и с невставленными окнами. Просторное и прстранное помещение — если его распилить повдоль, то получилось бы два, может, и три барака, — будущая столовая полка. Чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных

продольным заборчиком из пиленых брусков. На домах и меж домов имелись щиты, на них лозунги, плакаты, портреты руководителей государства и армии. С крыши большого, тоже неуклюжего помещения, осевшего углами в песок и начавшего переламываться, сплошь облепленного плакатами, призывами, кинорекламой, звучало радио (клуб, смекнули новоприбывшие), а вокруг него все эти свежо желтеющие домики — штаб полка. Но догадались об этом не все. Старообрядцы и всякий таежный люд, коего среди новичков было большинство, глядели на штаб, точно праздные заморские путешественники на Венецию, суеверно притихнув, пытались угадать, откуда исходит музыка — с крыши какой или уж прямо с небес.

У парней посасывало в сердце, всем было тревожно оттого, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное, но и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий собранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми ко грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве, — потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсаженно-прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полуободранный лес, другим — в растоптанный пустырь, в этакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, чего-то вышаривали клювами в грязи, с криком отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в терпеливый строй.

Крестьянского роду парни по им известным приметам усекали — среди леса не песок, а грязь оттого, что были здесь прежде огороды, может, и пашни. Меж столов и подле раздачи грязь вовсе глубока и вязка. Питающийся народ одной рукой потреблял пищу, другой цепко держался за доску стола, чтобы не соскользнуть в размешанную жижу, не вымочить ноги. Впереди день строевых и прочих занятий на сибирском, все круче припекающем морозе. Деловитый гул, прерываемый выкриками и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой летней столовой, продлившейся до зимы. Звяк посуды, звон тазов, брэнчанье ковшиков о железо, выкрики типа: «Быстренько! Быстренько! Н-не задерживай очереди!», «Сколько можно прохладжаться?», «Пораспустили

пузы!»), «Минометная рота! Минометная рота!», «Отойди от окошка, отойди, сказано, не мешай работать!», «З-з-заканчивай прием пищи!», «Поговори у меня, поговори!», «А пайка где? Па-айку-у спе-орли-ы-ы!», «Взвод, на построение!», «Быстренько! Быстренько! Освободить столы!», «Жуете, как коровы! Пора закругляться!», «Э-эй, на раздаче, в рот вам пароход, в жопу баржу! Вы когда мухлевать перестанете? Когда обворовывать прекратите?», «А-ат-ставить!», «Поторапливаемся! Поторапливаемся!», «Да сколько можно повторять? Сказано, значит, все!».

Мест здесь, как и во всех людских сборищах, как и везде в Стране Советов, не хватало. Люди толпились у раздаточных окон кухни, хлебрезки, заняв стол-прилавок, держали за ним оборону. Получив кашу в обширные банные тазы из черного железа, стопки скользких мисок, служивые с непривычки не знали, куда с ними притиснуться, где делить хлеб, сахар, есть вареву.

«Сюда! Сюда! Эй, карантинные, сюда!» — послышалось наконец из-за крайних столов от лесу, и новобранцы, пытаясь обогнуть грязь, мешковато потрусили на зов. Пока не сложились команды, не разбились люди на десятки, карантинный контингент, еще не связанный расписаниями, режимом, правилами, кормили в последнюю очередь, и насмотрелись, наслушались ребята всего. Вася Шевелев, успевший уже вдосталь «накомбайнериться» в колхозе, как он с усмешкой пояснил, глядя на здешние порядки, покачал головой и с грустным выдохом внятно молвил: «И здесь бардак».

Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали воришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами. Там, куда не доставала обувь стесанными подошвами, на ничейном месте, украдчиво выросшая, кучерявилась стылая мокрица, засоренная рыбьими костями.

Военный люд рассеялся, за столами сделалось просторно, однако никак не могли парни приспособиться одновременно есть и держаться за нечистые, обмерзлые плахи. Бывалые бойцы, уже одетые в новое обмундирование, на занятия не спешившие, позавтракав, облизав ложки и засунув их за обмотки иль в карманы, посмеивались над новичками, подавали им добродушные советы, просили закурить, которые постарше бойцы, значит, и добрей, наказывали: боже упаси стоять в грязи меж столами или оплескаться похлебкой — сушиться негде, дело может кончиться больницей, а больница здесь...

Покуривши, сделав оправку в лесу, со взводами и ротами уходили и эти мужики, а так хотелось еще с ними поговорить, разузнать про здешнюю жизнь, да что же разузнавать-то, сами не слепые — видят все.

Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепило покорностью и всепоглощающей стужей зимнюю округу. Еще сильнее скрючило, сдавило там, внутри, у молодых парней, тяжкие предчувствия вселял небольшой, не в братстве нажитый опыт: поздней осенью здесь будет еще хуже.

А раз так, скорее бы уж на фронт вслед за этими основательными дяденьками, которые где уберегли бы от беды, где подсказали чего, где и поругали бы — уцелеешь, не уцелеешь в бою, не от тебя только одного зависит, на войне все делают одно дело, там все перед смертью равны, все одинаково подвержены выбору судьбы. Так близко и так далеко-далеко от истины были в этих простецких, бесхитростных думах только начавшие соприкасаться с армейской жизнью молодые служивые.

С новобранцев, которые были нестрижены, снимали волосье. Старообрядцы с волосами расставались трудно, однако стойчески, крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев; один старообрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров, каких-то лишь нашим людям известных тужурок, телогреек, пальто и им подобных одежд, водворив вместо подушки сидора под головы, ребята пробовали спать, однако день выдался суматошный, их то и дело сгоняли с нар, выдворяли из помещения, выстраивали, осматривали, переписывали, разбивали по командам, не велели никуда разбредаться, ждать велели, но чего ждать — не сказали. Уже тут, в полужилом подвале, на подступах к военной службе, парням внушалась многозначительность происходящего — веяние какой-то тайны, все тут насквозь пронзившей, должно было коснуться даже этого пока еще полоротого, разномастного служивого пролетариата.

Многозначительность, важность еще больше возросли, когда началась политбеседа. Не старый, но, как почти все здешние командиры, тощий, серый ликом, однако с зычным голосом капитан Мельников, при шпалах и ремнях, оглядел внесенную за ним двумя новобранцами в помещение треногу, пошатал ее для верности, припилил к доске кнопками политическую изношенную карту

Астафьев В.

А 91 Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 736 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-25082-6

В 1942 году восемнадцатилетним юношей Виктор Астафьев ушел добровольцем на фронт. Служил на передовой, перенес несколько тяжелых ранений, был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», демобилизовался в 1945 году в звании «рядовой». Война, увиденная глазами простого солдата — одного из сотен тысяч, в нечеловеческих условиях ежедневно сражающихся со смертью, — центральная тема в творчестве выдающегося русского писателя Виктора Астафьева. Роман «Прокляты и убиты» — итог многолетних размышлений и одно из самых драматичных, трагических и правдивых повествований о войне как «преступлении против разума». Пронзительная откровенность писателя, его бескомпромиссное нежелание скрывать «неудобные» факты и приукрашивать суровую правду, предавая собственные воспоминания и память павших, завоевали произведениям Астафьева любовь миллионов читателей.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ

Ответственный редактор Анна Щеникова-Архарова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Валентина Дик
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректор Людмила Быстрова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 12.02.2024.
Формат издания 60 × 88 ¹/₁₆. Печать офсетная. Тираж 5000 экз.
Усл. печ. л. 45,08. Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» — обладатель товарного знака АЗБУКА®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	Өндіруші: «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ — АЗБУКА® тауар белгісінің иесі, 115093, Мәскеу, қ. іш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге, 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12–14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru	Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы, 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Отпечатано в России.	www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы
мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



V-ARL-34068-01-R